Лора Беленкина
Окнами на Сретенку

Лора Беленкина

Окнами на Сретенку

издательство **АСТ**

Москва

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
К17

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

Беленкина, Лора
К17 Окнами на Сретенку / Лора Беленкина. — Москва : АСТ : CORPUS, 2013. — 592 с.

ISBN 978-5-17-081414-5

Ганна-Лора родилась летом 1923 года в Берлине. “Папа потом говорил, что он бы назвал меня Надей или Наташей. Но мамин выбор пал на это имя, потому что она вычитала из журналов, что так звали королеву красоты того года — фото этой королевы ей понравилось, а вместе с королевой и имя”, — начинает воспоминания Лора Беленкина. А потом описывает свою жизнь: счастливое детство в Германии, отрочество и взросление после переезда в СССР. Берлин 1920-х, Москва 1930-х, война, бедность, коммунальный быт, советская школа, послевоенный антисемитизм, дружба и любовь. Лора Беленкина, с ее памятью к деталям и заинтересованным взглядом на события, рисует в мемуарах красочную картину жизни ушедшей эпохи.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-081414-5

© Л. Беленкина, наследники, 2013
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2013
© ООО “Издательство АСТ”, 2013
Издательство CORPUS ®

Содержание

Предисловие 7

Берлин

Шенеберг (1923–1924) **11**

Ланквиц (1924–1926) **25**

Штеглиц (1926–1930) **32**

Школа **80**

Отъезд **88**

Москва

Первые недели **95**

Воронцовская улица (1930–1931) **103**

Поездка в Германию **123**

“Ново-Московская” гостиница **146**

Арбатская площадь (1933) **151**

Сретенка

(Панкратьевский переулок)

1934 год **185**

Жизненный уклад в 1934–1937 годы **190**

Школьные годы **203**

1941 год **334**

Война **350**

Смерть папы **378**

В институте **385**

Трудфронт. Лесозаготовки **389**

Снова дома **406**

День Победы **455**

Институт востоковедения **464**

Неожиданный удар **529**

1951-й и дальше **539**

Вместо заключения. 1994 год. Поездка в Германию **572**

Дополнения

Послесловие редактора **587**

Не завершился круг **589**

Предисловие

В предисловии к своим мемуарам люди обычно оправдываются — почему решили написать да зачем… Я сама очень люблю читать воспоминания, все равно чьи: это всегда кусок истории, кусок быта глазами очевидца, пусть даже описанный предвзято — ведь официальная история тоже всегда предвзята, к тому — безлична.

Автобиографии великих людей читаешь, чтобы сказать: “Великий человек, а в детстве-то был такой же, как мы все!” — или чтобы понять истоки и начало их величия.

Чаще же всего мемуары пишут те, кому довелось встречаться с известными людьми: добавляют штрихи к общественному их портрету и вместе с тем скрыто хвастают: “А я-то, видите, тоже не балбес — с такими общался”.

Я же — самый обыкновенный человек со своими, никому не интересными причудами; жизнь моя небогата была событиями, а характер таков, что мне сейчас не приходится жалеть ни о чем таком, что я сделала, — наоборот, мне очень жаль, что я многого не сделала, для чего были возможности. Всех людей можно разделить на актеров и зрителей в жизни, так вот я была зрителем. Зрителем внимательным, благодарным.

В детстве я часто меняла места жительства: Берлин, потом переезды в Москве с квартиры на квартиру, меняла и школы. Покинутое всегда сразу становилось прошлым: я к нему не возвращалась, и оно не могло слиться с более поздними впечатлениями, а новое всегда вызывало более внимательное к себе отношение; этого не может быть у детей, которые всю жизнь прожили в одном доме, в одном окружении, учились в одной школе.

А помимо всего, может быть, будет интересно узнать, как отражались тридцатые годы в голове ребенка, приехавшего из другой страны, многого не понимавшего, но видевшего все и выделившего что-то для себя.

Может быть, интересно будет прочитать и о войне в жизни рядовой москвички. И возможно, о судьбах других людей и семей, которые мне повстречались.

Подробно я опишу раннее детство, школьные годы и юность — примерно до 1945 года, более поверхностно — до рождения моих детей и уж совсем скупо — потом. Не мне писать о тех временах — пусть это сделают, если будет охота, мои потомки.

В эти мемуары я включу отрывки из моих дневников, которые сохранились, и воспоминания, написанные мною ранее.

Берлин

Шенеберг

(1923–1924)

Я

ЛОРА БЕЛЕНКИНА

(1923 (01.06) — 19...)

1 июня 1923 года в Берлине (район Шенеберг) родилась Я. Родители мои снимали комнату у некоей фрау Даутерт. Время было тяжелое, инфляция, было трудно что-либо купить, никто не хотел сдавать квартир. Нас пустили только потому, что Торгпредство стало выплачивать сотрудникам зарплату в долларах. Ни кроватки, ни детской коляски у родителей не было, и когда меня принесли из частной клиники, то поместили в большую бельевую корзину, в которой я и провела первые недели своей жизни. По желанию мамы меня назвали *Hanne-Lore*. Папа потом говорил, что он бы назвал меня Надей или Наташей. Но мамин выбор пал на это имя, потому что она вычитала из журналов, что так звали королеву красоты того года — фото этой королевы ей понравилось, а вместе с королевой и имя. Папа был очень мне рад, хоть и говорил до того, что хотел бы иметь сына.

Именно папе пришлось меня пеленать. Мама сказала, что боится меня трогать: ей казалось, что она сломает мне руки или ноги. Папа пеленал меня умело и с удовольствием; мама заболела грудницей, и молоко у нее пропало, меня вскармливали искусственно — опять же часто бутылочку мне подавал папа, — наверное, поэтому именно он "запечатлелся", и я на всю жизнь оказалась папиной дочкой.

Мама рассказывала, что я необычно рано начала говорить. Ко времени возвращения папы с работы мама подносила меня к окну, и, если трамвай под окном уходил, не высадив папу, я разводила руками и с грустной интонацией говорила: "Мама — папа?" Если же он выходил из трамвая, я подпрыгивала и кричала: "Мама — папа! Мама — папа!" На звонок в дверь я тоже реагировала словом "папа", но потом мама объяснила мне, что это не папа, а "Болле" (известная фирма, доставлявшая по утрам молоко на дом), поэтому на утренние звонки я стала отзываться криком: "Болле-болле-болле".

Мы прожили у фрау Даутерт ровно год. Мне почему-то кажется, что стены в комнате были темно-зеленые. Хотя вряд ли в этом возрасте вообще можно различать цвета. Но расположение окна и двери я действительно помню правильно — это потом подтвердила мама.

Мама

Марга Бютов

(1892 (01.04) — 1975 (20.06))

Маму мою вообще-то звали Мартой (при крещении — Марта-Хенни-Мари-Лисбет), но она очень не любила это имя, называла себя только Маргой, и о ее настоящем имени никто даже не подозревал. Хотя она была похожа на отца, но от бабушки унаследовала чрезвычайно жидкие белокурые волосы и тонкие губы. Восемь лет она проучилась в Народной школе, где учили Бог знает чему, ибо мама, которую нельзя заподозрить в плохом прилежании, по окончании этого училища не знала ни литературы, ни алгебры, ни даже дробей. Из географии надо было знать только столицы больших государств. Из физики зато она помнила точную формулировку, что такое электричество. Учебников там вообще не было, кроме букваря. Правда, писала мама после этой школы красиво и очень грамотно и прекрасно умела считать в уме. Кроме этого, она всю жизнь помнила длиннейшую поэму на день рождения кайзера: каждая девочка славила Вильгельма от имени какого-нибудь цветка, маминым цветком была ее любимая фиалка, но она знала наизусть все роли.

Когда Марге исполнилось одиннадцать лет, она предложила своей маме помочь зарабатывать деньги — семья жила впроголодь, и, если ели селедку, каждому доставалось по одному кусочку; целого яйца мама в детстве тоже никогда не съедала, а сахар клали в кофе только по воскресеньям. Маму послали нянькой к маленькому сыну секретаря Гюстровской ратуши; сразу после занятий в школе она отправлялась в тот дом и иногда до ночи качала на руках

малыша. Но хозяйка использовала ее не только как няню, а посылала еще за покупками, иногда заставляла мыть пол и стеречь дом, если она с мужем вечером уходила в гости. Последнее было самое жуткое для девочки, потому что было страшно одной ночью в чужом доме. Платила хозяйка мало, но девочка гордилась тем, что помогает маме зарабатывать деньги.

Когда Марга окончила школу, мать отправила ее на курсы горничных при одной из гостиниц на берегу Балтийского моря. Совсем не этого хотелось маме, не о том мечтала она, чтобы потом всю жизнь прислуживать чужим людям, поэтому, накопив немного денег во время практики, она отправилась в Берлин. Долго искала, где подешевле снять комнатушку, потом пошла по разным конторам искать работу. Но владельцы этих контор, узнав, что она окончила всего лишь Народную школу, немедленно отказывали ей и не слушали ее уверения, что она "умеет хорошо и быстро считать". Наконец нашелся сердобольный мини-предприниматель, который взял ее на работу с условием, что она будет вечерами учиться на бухгалтерских курсах. С этих курсов ее вскоре захотели выгнать за невежество: "Как — даже этого вы не знаете!" Но мама сказала: "Я из очень бедной семьи и ходила только в Народную школу. Я училась хорошо, но мы этого не проходили. Я очень хочу учиться у вас, и я прошу вас, объясните мне все то, что нам не рассказывали в школе". Преподаватель был поражен и обезоружен маминой наивностью, и он терпеливо занимался потом с мамой отдельно. В конце концов мама немного обогнала других учениц — из "хороших" семей, обучавшихся в школе для благородных девиц (*höhere Töchterschulen*).

Мини-предприниматель торговал каким-то особым мылом, состав которого он сам изобрел и которое сам же изготовлял. В обязанности мамы среди прочего было ходить по парфюмерным магазинам города в виде покупательницы и спрашивать, нет ли у них в продаже этого "замечательного мыла "Лабико". Несмотря на такую рекламу, предприниматель вскоре прогорел и закрыл свою контору. А мама пошла работать счетоводом в крупную электрокомпанию АЭГ. Жизнь у нее стала более веселой, она попала в дружный коллектив бухгалтерии, состоявший из таких же девушек и одного белокурого молодого человека по фамилии Блак. Своими шутливыми замечаниями и розыгрышами он веселил и смешил девушек — они потом всю жизнь вспоминали его и снова смеялись. Мама была на хорошем счету у начальства, и ей вскоре прибавили жалованье. Она купила себе лютню и стала брать уроки игры на ней. Кроме этого, она заинтересовалась политикой и стала посещать митинги и сходки различных партий. Она надеялась, что придет время, и она сама тоже будет кричать что-нибудь с трибуны. Но этому положил конец ее шеф: он вызвал ее и сказал: "Фрейлейн Бютов, мы очень довольны вашей работой, но мой вам совет — руки прочь от политики, она вас до добра не доведет".

Вместе с мамой в отделе работала и Меля Карп, приехавшая из Польши. Она брала маму с собой в оперу и на концерты, а как-то позвала к себе, чтобы познакомить ее со своим женихом Ваней Шустовым. А Ваня привел с собой своего бывшего товарища по лагерю гражданских пленных в Хольцминдене, и таким образом состоялось первое знакомство моих будущих родителей.

Поженившись через четыре года, молодожены поехали на какое-то время в Гюстров, к бабушке. К тому времени бабушка уже не жила в приюте для бедных. Ей дали небольшую квартирку в ветхом голубом двухэтажном доме, построенном каким-то благодетельным герцогом в начале XVIII века для одиноких вдов города Гюстрова. Он стоял на Соборной площади (*Domplatz*, 7) в тени массивного краснокирпичного собора XIII века и был населен одними старушками. Мне в детстве часто приходилось бывать в этом доме. Парадная дверь вела в большую, вымощенную каменными плитами переднюю, здесь же находился кран с огромной раковиной, где все жильцы брали воду. Кран всегда был начищен до блеска. Слева в углу вела вверх страшно скрипучая деревянная лестница, там стоял свой, особый запах: пахло деревом, немножко плесенью, немножко чем-то тяжелым, сладким — трудно описать его, но он мне был приятен.

Бабушкин дом

У бабушки[1] были комната и кухня на втором этаже, сразу за лестницей. Потолок был очень низкий: мама, подняв

1 Бабушка (1860 (28.09) — 1934 (02)). Бабушка моя с материнской стороны, Вильгельмина Хан (*Hahn*), была родом из большой крестьянской семьи, жившей в деревушке близ города Гюстрова в Мекленбурге. Две старшие ее сестры вышли замуж за городских чиновников, жили зажиточно и чурались своей крестьянской родни. Еще одна сестра жила потом с мужем в Ростоке, вторая вышла за крестьянина в другой деревне, тоже недалеко от Гюстрова. Оба брата остались крестьянами, один из них рано погиб — падая с сеновала, он напоролся на вилы. Бабушка же моя еще в очень юном возрасте пошла в няньки. Жила она в Ганновере при многодетной еврейской семье. Вильгельмина любила детей, и в той семье к ней очень хорошо относились, была привязана к этой семье и бабушка; впоследствии она дала всем своим детям имена тех воспитанников. Там, в Ганновере, ее приметил, проходя мимо дома, портной Юлиус Бютов, красивый молодой человек с широко расстав-

руку, упиралась в него. Небольшие окна выходили за дом, где был небольшой сад, дровяной сарай и кирпичная уборная. Одно из окон кухни выходило в сад настоятеля собора, в окно упирались ветви грушевого дерева. Комната была заставлена мебелью — большой овальный стол, диван, вольтеровское кресло, грузный комод с уютно тикающими часами в виде яйца, которое несет в когтях большой черный металлический орел. Два шкафчика, кровать и письменный стол с застекленной полкой. Широкие под-

ленными карими глазами. Он влюбился в нежную голубоглазую Вильгельмину с первого взгляда. Из какой семьи он вышел, так никто и не узнал, невесте своей он сказал только, что родом из Штеттина, что рассорился с отцом и братьями и решил стать портным. Тогда ученикам-ремесленникам в Германии полагалось несколько лет скитаться, учиться у разных мастеров, потом проработать у кого-нибудь в подмастерьях, и если последний хозяин был доволен человеком, то выдавал ему свидетельство на звание мастера. Вот Юлиус как раз и заканчивал срок своего учения в Ганновере. Он женился на бабушке, и они обосновались в Гюстрове, где вскоре дед стал известным мужским портным, всеми уважаемым и ценимым. Появились дети: Пауль (умер в 14 лет от дифтерита), Берта, Эльза, Карл, Марга и Анна. Все четверо младших детей были похожи на отца — у всех крупные черты лица, широко расставленные глаза и довольно длинные носы с горбинкой.

Пока у Юлиуса дела шли хорошо, семья жила в достатке, Пауль и Берта учились в гимназиях. Но потом на Юлиуса стали находить странные приступы рассеянности, вдобавок к чему он начал попивать и на заработанные деньги угощал собутыльников. Клиентов становилось все меньше. Наконец он порезал в клочки уже сшитый для кого-то сюртук. Его увезли в дом для умалишенных, где он вскоре и умер. Оказалось, что у него была опухоль мозга — следствие того, что он еще в годы ученического странствования вблизи города Ауэ, несмотря на предостережение местных жителей, напился воды из радиоактивной речушки, "содержащей свинец" (точнее, уран). Когда он умер, Анна только родилась, а маме было всего два года. Бабушку стали одолевать кредиторы: она и не подозревала, что муж ее наделал столько долгов. Но надо было расплатиться со всеми. Она распродала всю мебель и ценные вещи и поселилась со своими пятью детьми в доме для бедных. Сама же пошла работать прачкой и с утра до вечера стирала в чужих домах. Когда приезжал граф Фрайхерганц Эдлер хер фон унд цу Путлиц, она прислуживала у него в доме, и он ценил и жалел ее, чистоплотную, тихую и трудолюбивую, дарил ей одежду для ее детей. Вообще же жизнь бабушки, совсем молодой еще женщины (34 года), со смертью мужа потеряла всякую прелесть. Старшая ее дочь Берта вскоре уехала в Берлин, вышла там замуж и, насколько мне известно, больше в Гюстров к матери не приезжала. — *Здесь и далее — прим. автора, если не указано иное.*

оконники были заставлены горшками, и во всех горшках — розы. Бабушка искусно выращивала разные сорта и очень ими гордилась. В кухне, смежной с комнатой, было больше простора: я любила плясать по ее навощенным скрипучим половицам. Там была дровяная плита, но готовили чаще на спиртовках. За дверью стояла кровать, на которой спала бабушка. Еще на кухне была скамья с двумя белыми ведрами, где держали воду. Освещалась бабушкина комната настольной керосиновой лампой с зеленым абажуром, электричества в доме не было.

Бабушке был выделен еще и небольшой сад, один из многих на обнесенном проволочной сеткой участке, — это было за чертой города, но недалеко от дома. Там у бабушки росло несколько вишен, очень много клубники, крыжовник, смородина, ревень и разнообразные цветы. В отличие от мамы, которую никогда не интересовала земля и не тянуло к сельским работам, бабушка находила удовольствие в садоводстве, все у нее всегда хорошо росло, и она получала большие урожаи ягод.

Папа

Борис Фаерман

(1888 (06.10) — 1941 (29.10))

А теперь я наконец хочу рассказать и о своем отце, старшем сыне семьи Фаерманов, о его жизни до того времени, как я сама его помню.

Как старшему сыну ему выпала участь гораздо более тяжелая, чем другим детям семейства: он рос в то время, когда семья еще очень бедствовала. Об учебе в гимназии

не могло быть и речи еще и потому, что по каким-то неписаным еврейским законам старший сын должен был в первую очередь стать помощником в семье. Поэтому дед дождаться не мог, когда наконец Борис уйдет на заработки и станет присылать семье деньги.

Младшие дети[1] очень любили и уважали Борю, а он был мальчик скромный и довольно нелюдимый; в свободное время он рисовал, научился даже писать маслом; по рассказам братьев и сестер, эти картины были очень хороши. Когда девочки задумали устроить театральное выступле-

1 Моисей (1899 (12.08) — 1978). Из всех мальчиков семьи младший, Моисей, обладал самой приятной наружностью. Он, правда, рано облысел, но до старости оставался привлекательным. Он был очень мягок, добросердечен, порядочен до некоторой скучности. Гимназию он окончил с серебряной медалью, потом, после революции, окончил два факультета Бакинского университета — экономической географии и английского языка. У него была написана диссертация по географии Индии, но до защиты дело не дошло, и он потом всю жизнь преподавал английский язык.
Личная жизнь его сложилась очень странно. Он ухаживал за бакинской красавицей Р., несколько раз делал ей предложение, но та все оттягивала ответ и вдруг объявила ему, что выходит замуж за М., военного фармаколога. Моисею бы презреть ее, неверную, и жениться на другой — говорят, в него были влюблены многие хорошие девушки и выбор невест был богатый, но… Он отдал всю свою жизнь и свободу — Р. Муж ее оказался импотентом, и дочка, которую она родила, была от Моисея. Они втроем жили в одной квартире — М. был у Р. для души и для выходов в свет, а Моисей — для постели и кармана, ибо говорили, что она обирала его как липку. Дядя обожал дочку, которая папой называла не его. Он дружил с М. и часто ездил с ним на рыбалку. Р. играла Моисеем и то грозилась прогнать его, то плакала, что он ее не любит, занят диссертацией вместо того, чтобы заработать больше денег. Весь Баку, все родные смеялись над ним, пожимали плечами и крутили пальцем у виска. Когда дочка была в седьмом классе, кто-то рассказал ей о том, кто такой этот Моисей, живущий с ними в квартире, и она его возненавидела. За несколько недель до смерти я, впервые затронув с ним эту тему, спросила: “Как вы могли так жить?” И он ответил мне: “А что? Да, многие думали, что я дурак, что я несчастлив, а ведь на самом деле я был самым счастливым человеком на свете. Разве многим дано такое — иметь рядом с собой до самого конца единственную горячо любимую женщину и самого близкого друга? Ведь М. был золотой человек, я таких больше не встречал. И еще дочка. И потом мы вместе с Р. воспитывали внучку… Нет, нет, я уверен, что такое счастье мало кому выпадает. Я благодарен своей судьбе”.

ние, он из тряпок и картона смастерил им великолепные костюмы в стиле исторической эпохи. Вообще у него, несомненно, был талант к художеству, но он скорее стеснялся этого таланта, чем стремился его развивать. То ли сразу после окончания школы, то ли позже он отбыл воинскую повинность и всю жизнь с содроганием вспоминал, как заставляли их, солдат, штыком прокалывать куклу из тряпок и соломы… Потом отец[1] отправил его в Харьков учеником к немцу-аптекарю. В то время младшие дети уже учились в гимназиях и институтах, а папа все работал и слал домой деньги. А по ночам усиленно занимался: сдавал экстер-

1 Дед (? — 1932). Дед мой с папиной стороны, Лев Давыдович Фаерман, был польский еврей, каким-то образом попавший на Кавказ. Там он стал ухаживать за Верой Воскобойниковой, чьи родители, видимо, отказали ему как человеку очень бедному. Тогда он похитил свою возлюбленную, куда-то далеко умчал ее — говорят, отстреливаясь от погони, — и женился на ней вопреки воле ее родных. 6 октября 1888 года в городе Хасав-Юрте (Дагестан) родился их первенец, Борух (Борис), — это и был мой отец. После этого семья переехала в Евпаторию, затем в Баку и уже оттуда в Бухару. Там дед, перепробовавший в скитаниях много разных работ вплоть до портового грузчика, наконец осел и нанялся весовщиком к немцу, торговцу хлопком. Постепенно он увеличивал семью. Через два года после Бориса появился на свет Илья, еще через два года — Матильда, затем Хава (Ева), Моисей, Зинаида и уж в 1901 году последний, Исаак.
Сначала семья жила в бедности. Потом понемногу немец-хозяин, оценив трудолюбие своего весовщика, повышал ему жалованье, в начале нового века сделал его своим агентом, и семейство постепенно выкарабкивалось из полунищего состояния. К началу мировой войны дед уже был компаньоном своего скупщика хлопка. Он переехал в Самарканд, обставил там квартиру, купил пианино и много книг, нарядно одел своих детей, а жене подарил бриллиантовое колье и временами изменял ей, безумно его ревновавшей. Сразу после революции семья перебралась в Баку. Здесь в 1928 году умерла бабушка, несколькими годами позже и сам дед, и здесь же окончили позже свою жизнь Матильда, Моисей и Исаак.
Дети все были не похожи один на другого как внешне (Матильда и Ева — голубоглазые блондинки, в мать, остальные — темноволосые со светло-карими глазами. Исаак — худощавый, рослый, другие в большей или меньшей степени склонные к полноте), так и по характерам. Все они были умны и очень музыкальны: папа играл на балалайке, Илья на гитаре, Моисей и Исаак на рояле, у Зины был прекрасный голос, а бабушка играла на кларнете. У них даже был домашний оркестр.

ном за курс гимназии и, наверное, откладывал ежемесячно небольшие суммы на поездку учиться за границу. Только в марте 1912 года его отец дал согласие на отъезд Бориса на учебу. Не знаю, было ли у папы где-то глубоко в душе чувство обиды на своего отца, ведь тот всех детей как бы предпочел ему, старшему, но папа никогда об этом не говорил и, очевидно, принимал все как должное. Но нежно любил мать, а та в свою очередь считала Борю лучшим и самым добрым из своих детей и всегда жалела его.

Итак, в марте 1912 года папа переехал в Берлин и поступил в высшую школу экономики и коммерции. Папа интересовался статистикой, любил и хорошо знал математику, поэтому, видно, и выбрал такой институт. Он снял чердачную комнатушку и все свободное время читал книги по философии и художественную классику. Встречался, конечно, с Ильей[1] — и спешил постичь немецкий язык,

1 Илья (1890 (8.11) — 1964). Илья в молодости был горяч, непоседлив и влюбчив и вместе с тем, очевидно, расчетлив, иначе не стал бы он ухаживать за дочкой директора Самаркандской гимназии, старше его на три года и не такой уж хорошей собой. Но он обворожил ее и ее родителей, и ее папаша устроил его учиться в своей гимназии. Эту гимназию он окончил с золотой медалью, после чего сразу женился и уехал в Берлин учиться медицине. Учился он блестяще, одновременно живя веселой студенческой жизнью; когда началась мировая война, он уже окончил институт. Жена его уехала в Самарканд рожать дочку, а Илья отправился военным хирургом на фронт. Где-то на юге Украины он влюбился в младшую дочку одного очень богатого мельника из Мариуполя, развелся с женой, у которой в то время уже была маленькая дочка, и в 1916 году женился на украинской Любаше. Во время Гражданской войны он продолжал быть военным хирургом (у красных), но уже не на Украине, а на Кавказе, где-то близ границы с Персией. Когда наступил мир, Илья взялся за науку, защитил кандидатскую диссертацию, а перебравшись в Москву — и докторскую (работа по болезням селезенки). Ко времени нашего приезда в Москву он уже был профессором по общей хирургии, работал в Яузской больнице и был окружен восхищенными учениками.

ибо на первых лекциях почти ничего не понимал. Когда он был на третьем курсе, началась мировая война, и папу как гражданина враждующей державы заключили в лагерь для гражданских военнопленных в Хольцминдене. В этом лагере встретились мужчины и женщины из Франции, Бельгии, России и других стран, люди из всех слоев общества. (В этом же лагере, между прочим, был среди заключенных и писатель Константин Федин.) Все эти люди жили в бараках, пища была скудная, на работу выгоняли с утра: папа потом рассказывал мне, что там он на всю жизнь возненавидел пруссачество — тупых и безжалостных, как заведенные машины, офицеров с их лающими окриками. И тем не менее этот лагерь был, по-моему, для папы чем-то вроде особого университета. Именно там он выучился английскому, французскому, на которых потом свободно говорил и читал; именно там он познакомился с классической музыкой (там находился дирижер-бельгиец, собравший самодеятельный оркестр), научился хорошо играть в шахматы, а еще узнал цену дружбе и общению с другими людьми (многие из них были широко образованны), равными в тех суровых условиях.

Был там и организатор драматического общества и хора, сын донского казака Иван Шустов, веселый затейник, сначала не очень близкий к папе, но позже сыгравший важную роль в его жизни.

В 1918 году, когда война кончилась, пленных выпустили, и папа снова очутился в Берлине — без гроша в кармане в буквальном смысле слова. На работу устроиться было трудно, иностранные подданные ежедневно должны были отмечаться в полицейском участке. Денег не было даже на еду, не то что на возвращение в Россию. Наконец папа

устроился на какую-то должность в кинокомпании "Сатурн". Ходил в потертом пальтишке с лагерной нашивкой на рукаве, голодный, но на первые заработанные деньги купил себе дешевый поддержанный фотоаппарат, которым снимать можно было только со штатива. С тех пор фотография стала его хобби, совсем маленькие снимки он увеличивал и в 1920-е годы даже участвовал в выставках и получал первые и вторые премии на конкурсах фотолюбителей. Лишь позже его любовь к фотографии стало вытеснять увлечение радио. Уже в 1924-м он собрал маленький детекторный приемник с наушниками, а к 1930 году смастерил целый сет из трех ящиков, которым можно было ловить и заграничные станции.

В начале 1919 года он случайно встретил на улице Ваню Шустова, и тот затащил его к своей новой знакомой, польке Амелии, работавшей конторщицей в компании АЭГ. Там-то его и увидела моя мама, сослуживица и приятельница Мели. Она нашла его "некрасивым еврейчиком с яйцевидной головой", но в то же время ее, как пишут в романах, "поразила острая жалость" к этому бледноватому оборванному человеку. Она решила его накормить и заштопать дыры на его одежде. Они стали встречаться, он полюбил ее. Его привлекли ее улыбающиеся глаза, неиспорченность и наивность, ее привычка петь целыми днями. Она полюбила его позже, продолжая жалеть и ценя его покорность. Очень приблизила ее к нему и схожесть их судеб: оба были единственные из братьев и сестер, кому пришлось рано работать, чтобы помогать родителям.

У немцев принято в воскресные дни выезжать с рюкзаком за город; папе такое времяпрепровождение было незнакомо, но мама увлекала его с собой, и он полюбил на всю

жизнь природу средних широт, до того не виданную им, южанином. Все сильнее он любил и мою поющую маму, но жениться ему пока было нельзя. “Сатурнфильм” вскоре распался, снова пришлось искать работу; зарабатывали они оба очень мало, и не на что было бы жить. Вот и тянулась их дружба целых четыре года. А в 1922 году в Берлине открылось советское Торгпредство, папа сразу же явился туда, и его взяли на постоянную работу[1]. Родители мои расписались, скромно отпраздновали свадьбу и поехали на несколько дней в город Гюстров, к маминой маме.

1 Уже написав эту часть своего повествования, я нашла папину студенческую зачетную книжку: оказалось, что он еще был студентом в 1921 году. То есть какое-то время после освобождения из лагеря он продолжал учебу, прерванную в 1914-м, видимо, на II курсе. Всего он окончил три курса.

Ланквиц

(1924–1926)

По-настоящему же я помню какие-то события и свое окружение после того, как мы в 1924 году переехали в Ланквиц (на южной стороне Берлина) — по-видимому, это когда-то была деревня, потом слившаяся с городом; сейчас этого района на карте Берлина не найти. Мои родители сняли две комнаты в квартире, принадлежавшей пожилой еврейке, фрау Архенгольд, — родственнице знаменитого астронома[1]. Она постоянно что-нибудь вязала крючком и запомнилась мне вместе с мягкими клубками разноцветной шерсти. Мама потом рассказывала, что она продавала связанные вещи на аукционе, а вырученные деньги отдавала в фонд помощи еврейским эмигрантам. Она заразила маму вязальным азартом и даже научила ее вязать платья. Но интереснее этой фрау Архенгольд был дом, в котором располагалась ее квартира. Это было длинное одноэтажное серое здание с фонарями у входной лестницы и гнутыми железными решетками на высоких окнах, построено оно

1 Фридрих Архенгольд — немецкий астроном, основатель и руководитель Народной обсерватории в Трептове, округе Берлина. — *Прим. ред.*

было в XVIII веке кайзером Фридрихом для своей любовницы, балерины. Здесь он тайно встречался с нею. Но, когда мы туда въехали, дом уже весь прогнил и отсырел, печи плохо горели, а на стенах кое-где выступала плесень. Перед домом росли огромные толстые каштаны, и летом в комнатах было темно от их густой листвы. Напротив дома был сквер, тоже с каштанами, и маленькая скромная церквушка за каменной оградой. За церковью была трамвайная остановка и стояли дома, более высокие, чем на нашей стороне. Я любила красивые блестящие каштаны, всегда собирала их. За нашим домом был сад с деревьями и цветами, за садом крутой спуск к небольшому ручью, скрытому за густым кустарником, вдоль ручья — проселочная дорога, по которой мы часто прогуливались, особенно когда к нам приезжали гости. На этой дороге, помню, за мной однажды погнался гусак и больно ущипнул меня — факт, который родители мои не запомнили, а я неспроста до сих пор боюсь гусей.

Комнаты наши находились справа от входа с улицы; одна была очень большая, другая, смежная с ней, гораздо меньше (крошечной она запомнилась даже мне, совсем маленькой девочке), это была наша спальня. Там умещались только три наши кровати да печка. На этой печке зимой сушили отсыревшие наши одеяла. Я совершенно ясно помню расположение комнат и расстановку мебели в них, помню и пути от дома до некоторых магазинов и в детский сад — родители мои были поражены, когда я, уже будучи взрослой, до мелочей все им правильно описала. Коридор был темный, изогнутый, и вел он в огромную светлую кухню с тремя окнами в сад. Из кухни выходили четыре двери: в коридор, в кладовую, в комнатушку фрау Архенгольд и в сад. Посреди кухни стоял стол, за которым

обычно обедали, но у меня был свой особый маленький столик — сейчас он стоит у нас на балконе единственной вещественной памятью тех времен: все еще жив!

Мне много запомнилось из тех двух с небольшим лет, что мы жили в Ланквице. И запомнилось как раз не то, что моим родителям…

Что помню я

Моя белая железная кроватка с узорчатыми боковыми стенками — правда, я спала в ней почти до семи лет уже со спущенными боковинками, но именно тогда я ее любила. Хотя уже в два-три года не умела спать днем. Но и любила ее не как удобную постель, а как произведение искусства. Однажды летом я проснулась ночью — было еще не совсем темно — и удивилась, увидев, что папа стоит на подоконнике и шваброй водит по стеклу, а мама тоже около окна шлепает тряпкой по рамам и стенкам. “Столько комаров!” Потом меня, полусонную, вынесли на кухню, положили на стол и всю натерли сильно пахнущей жидкостью.

Помню, как иногда по утрам в воскресенье я перелезала в кровать к папе. В отличие от мамы он любил утром долго спать и, поцеловав меня в нос, сразу опять засыпал. А я слушала его дыхание с тихим-тихим тонким свистом, и мне представлялась темная бесконечность с мелкими разноцветными искорками.

Помню, как мама на кухне готовит обед и всегда, всегда поет, громко и красиво.

Один раз я хотела спуститься из кухни в сад, держась за железные перила, и вдруг заметила, что эти перила

сплошь облеплены маленькими черными существами — муравьями, я их испугалась, и вот мама и наша хозяйка смахивают их большими тряпками и успокаивают меня.

Помню также, как какая-то гостья фрау Архенгольд подавилась рыбьей костью; взрослые очень волновались, их тревога передалась мне, и я решила, что случилось что-то ужасное.

Еще помню детский сад. Мне было только два года, и, говорят, меня с трудом удалось отдать туда. Дорогу в этот детский сад я бы нашла хоть сейчас; она вела по широкой улице, мимо маленькой лавчонки, куда мама иногда на обратном пути из сада заходила что-нибудь купить, хозяйка этой лавочки меня любила, водила через подворотню в зеленый сад и угощала кусочками моей любимой вареной колбасы. Здание детского сада я не помню, детей тоже; мне представляется, что мы были все время на воздухе — на большой лужайке, сплошь поросшей кашкой. Мне нравился сладковатый запах этих цветочков. Один раз я ползала по траве на четвереньках, и меня ужалила в запястье оса. Было очень больно! До сих пор помню стишок, которому нас учила наша светловолосая воспитательница, танте Лотте, о том, как посеяли зернышко в землю и вырос цветок, — декламацию мы сопровождали жестами, их я тоже помню.

Однажды по дороге из сада мама повстречала какую-то свою знакомую, пожаловалась ей на мои капризы, а та женщина сказала: “Да бить их надо — бамбуковой палкой”. Я возненавидела эту женщину, хоть и не показала виду.

Помню свои две первые книжки — толстую с множеством сказок и тонкую, картонную, где было мало текста и красивые пестрые картинки. Я даже запомнила, как мне ее купили: мама везла меня в сидячей коляске и сначала

в маленькой подвальной лавочке направо от дома купила большую красную эмалированную сковородку, а потом и книжку — ту, которую я очень полюбила. Книжка скоро куда-то потерялась или порвалась, но я запомнила три картинки из нее: у мальчика выглядывает пальчик из рваного носочка, девочка сидит спиной к нам и смотрит в окошко, а за окном идет сильный дождь, и лужок с коровами, и дети пьют из кружек молоко.

Из еды мне помимо колбасы запомнились *Makronen* — маленькие кружочки миндального печенья, которые мама добавляла в шоколадный крем, а еще подобие торта, которое называли *Götterspeise* ("Пища богов"). Позже мама говорила, что там послойно выкладывались тертые черные сухари, пропитанные ромом, консервированная вишня и взбитые сливки.

Каждое воскресенье папа ходил со мной гулять в большой парк неподалеку, от этих прогулок осталось впечатление праздничности и счастья. Папа во время этих прогулок пел, вернее, не пел громко вслух, а тихо мычал или насвистывал: марш из "Аиды", "Тангейзера", "Пророка", кусочки из увертюр Вебера — что это были за мелодии, я узнала, конечно, позже, но сразу вспоминала парк и папину руку.

У нас часто бывали гости: Шустовы, у которых в 1924 году родилась дочка Ирина; тетя Ева[1] с мужем Вик-

1 Ева (1894 — ?). Хава, или, как называли ее у нас в семье, Ева, была красива и кокетлива. Она окончила курсы, кажется, зубных техников и уехала на Украину, там встретила молодого инженера Виктора Кнюпфера из почти обрусевших немцев и вышла за него замуж. В начале 1920-х он уехал с ней в Германию, где у него были родные. Виктор обожал жену и потакал всем ее капризам. Он был щедрый и веселый человек, хорошо пел и играл на гитаре. Но Ева находила его скучным. Флирты ее становились все серьезнее, наконец терпение Виктора лопнуло, и он развелся с ней. Мои родители, особенно мама, очарованная Виктором во время ланквицкого периода, очень осуждали Еву. После Виктора она завела себе любовника с мордой злодея, которого обожала и который, по сло-

тором; тетя Соня Майкон (позже — Злотникова) из папиного Торгпредства, у тети Сони была дочка Вика, тремя годами старше меня; мамина приятельница по АЭГ фрау Молленхауэр и другие, которых я не помню. Мама, Виктор и Ваня Шустов часто пели под гитару и лютню. На Рождество однажды приходил Дед Мороз — я верила, что это он. Но какие он принес подарки, не помню.

Кукол я никогда не любила и была более благосклонна к трем своим мишкам: большому белому Юмбо, остроносой, как лиса, Браут и маленькому коричневому Морхену. Еще у меня была свинка на колесиках, которую я всюду таскала за собой.

Помню, как вечерами мы с мамой сидим на диване, мама вяжет, а на голове у нас надеты наушники. В них было слышно слова и музыку, но меня это не очень удивляло тогда. Наушники у меня все время съезжали, и приходилось придерживать их обеими руками.

Надо еще сказать несколько слов о лете. На время папиного отпуска мы ненадолго ездили к бабушке, а потом — к морю, в Арендзее (так было в 1924, 1925 и 1926-м). В Арендзее запомнилась одна бессонная ночь: у меня сделалась высокая температура сразу после приезда, помню нашу комнату в пансионе и бесконечную мамину колыбельную: *Schlaf, Herzenskindlein, mein Liebling bist du, tue die beiden Guck-Augelein zu…* Песня звучала жалостливо, хотелось плакать, а мама все пела, пела — всю ночь вместе со мной не сомкнула глаз. Только под утро я уснула, а проснувшись, была здорова. Какое впечатление на меня произвело

вам моих родителей, был самовлюбленный хам и сутенер. После нашего отъезда в Россию она оставалась в Берлине, и о ее дальнейшей судьбе ничего не известно. Братья и сестры считали ее предательницей и не переписывались с ней.

само море, я не помню, но помню белый песок, запах сосен и шишки. Они нравились мне не меньше каштанов, и я всегда собирала их в корзиночку.

Еще одно странное чувство мне запомнилось: мы гуляли по набережной, и там был крытый брезентом павильон; внутри художник как раз писал портрет девочки (так мне объяснили). Заглянув в павильон, я со света только смутно рассмотрела девочку, портрет же ее был освещен солнцем, ярок и красив, и меня охватил какой-то ужас, я подумала, что, когда художник закончит ее портрет, девочка вся исчезнет и перейдет в эту картину.

"Что ты смотришь? Хочешь, чтобы и тебя нарисовали?" — "Нет-нет, — закричала я, — уйдем скорее отсюда".

Мои родители совершенно не запомнили этого художника, я им потом рассказывала, и они только пожимали плечами: не пережили того ужаса моего заблуждения, о котором я им тогда не сказала.

Осенью 1926 года родители стали активно подыскивать новое жилье. Мама и меня брала с собой: меблированных комнат сдавалось много, и было из чего выбирать; я этих квартир, что мы смотрели, не запомнила. Помню только бесконечные поездки на трамвае. Один раз мы долго стояли. Мама сказала: "Что-то сломалось. В колесе дырка", — и я пыталась себе представить, где в колесе дырка и почему она мешает нам ехать дальше. "Видишь — вон те две женщины, что сидят впереди? Это русские". Русских эмигрантов в Берлине было полно. "А откуда ты знаешь, что они русские, они же молчат?" "Посмотри, как у них сильно накрашены губы — только русские так красятся", — утверждала мама.

Наконец подходящая квартира нашлась, и мы навсегда покинули дом возлюбленной Фридриха Великого.